

ИЗ ДВУХ ЗОЛ

П
О
В
Е
С
Т
Ь

Шоссе расплавилось от жары. Кажется, асфальт стекает с горки, на которой мы только что были. И брезент на кузове жаркий. Нельзя ли как-нибудь поднять брезент?

— Колька, — взмолилась я, — убери свою руку.

Мой Колька ни на что не обижается. Иногда, под настроение, меня это злит, но сейчас я даже рассмеялась. Он убрал руку, и моим плечам сразу стало прохладно.

— Ты опять куришь! — вырвалось у меня.

В сущности, я ничем не лучше других жен, природа щедро наделила меня сварливостью.

Колька потушил папиросу. Я ненавижу, как он это делает: плюнет в мундштук, папироса шипит и мокнет. Фи!

— Кто-то обещал в отпуске бросить курить. Тоже мне — сильный пол!

— Я не пол, я полупол.

У меня золото, а не муж. Тридцать лет назад природа, как я догадываюсь, намеревалась сделать несколько пудов благородного металла, ан получился человек, Николай Степанович Садовников. Ну и натворила природа! Можете проделывать с Садовниковым любые эксперименты в надежде получить реакцию: подвергать действию высоких домашних температур, травить кислотой супружеских будней — ничего у вас не выйдет!

— Ты рохля! — пришлось сказать мне, хотя я вряд ли сказала о нем правду. — И зачем я только вышла за тебя замуж?

Иногда я кокетничаю с мужем, но уже давно не рассчитываю на комплимент. Муж потерял вкус к милым пустякам, да и мне не всегда приятно их выслушивать.

Он помолчал, а затем изрек

очередную сентенцию:

— Из двух зол женщина выбирает меньшее — с дипломом...

У меня похолодело внутри, но когда я посмотрела на него, мне стало ясно, что он ничего такого не имел в виду. Старая мужская басенка про женскую психологию. Дескать, на земле сейчас женщин столько же, сколько и мужчин, они перестали быть дурами и не вешаются на шею первому встречному.

Пожалуй, сегодня я возбуждена более обыкновенного. Отвечая мужу, я старалась, чтобы это не очень бросалось ему в глаза:

— Это ты — малое зло? Мало я глупейших книг прочитала в твоей глухомани, мало вещей растеряла при переездах? А потом эта диссертация, институт. Часов нахватал на вечернем...

— Я стяжатель, — скромно ответил Колька.

Нет, не могу! Я засмеялась и стукнула его по плечу. Колька самовлюблен, Колька и не подозревает, как все сложно, но я хочу, хочу, хочу, чтобы так все и осталось.

— Коля, ну зачем мы едем туда? Какое-то захоlustье...

Машина пошла в гору, и я не расслышала, что он ответил. Но по самодовольному его лицу поняла — модный курорт, почти весь институт там, и Павел Иванович обещал уступить нам комнату. Тот самый Павел Иванович, которому мы угоднически организовали несколько дней назад царскую встречу в Евпатории и даже проводили на такси до Симферополя.

Колька мог бы придаться к моим словам о захоlustье. Еще бы: там я закончила школу, а как я обрадовалась, когда этот бурбон Павел Иванович предложил нам комнату. Но мой Колька не стал придираться. Он выше этого. Он даже и мысли не допускает, что у женщин, сколько бы она ни родила детей, остается свое прошлое — глупое, строптивное, невозвратное прошлое.

Мы неслись по долине. Два ряда пирамидальных тополей вдоль дороги делали видимой только полосу неба, глядя

на которую не чувствуешь движения — такое оно ровное, без поправки, без шального облачка. Даже в Саратове я не видела такого неба.

Стало как будто прохладнее.

— Коля, холодно, — пожаловалась я. И вовсе не холодно, просто оторопь берет, как там все будет и как обернется.

Он накинул на меня свой плащ, пропахший всеми ветрами России.

Сначала была Москва. Я ехала в автобусе. На повороте меня толкнул могучего сложения парень в мокром плаще. Извинился, а у самого улыбка во весь рот. Возмутительная улыбка. Я стала ему преподавать правила хорошего тона, а он, умный такой, ответил: «Простите, я, кажется, вас укусил?»

Тогда у меня было скверное настроение. С этого все и началось. Если у меня скверное настроение, я часто делаю глупости.

Я вспомнила об этом, и на меня снизошла не такая уж частая среди работающих женщин благодать заботливости и внимания к мужу и к себе. Мне нельзя больше делать глупостей. У меня есть Наташка. Я хочу, хочу, чтобы, чтобы так все и осталось.

— Коля, а ты помнишь Чугунова?

На фотографиях Колька выходит настоящим ученым. Ему и в жизни надо позировать, чтобы выглядеть интеллектуалом. Но сейчас у него вполне человеческая без претензий физиономия добродушного математика, которого хотят провести на простой задачке с вычитанием.

— Он же был моим оппонентом — профессор Чугунов!

Я вздохнула. Ничего он не помнит. К тому времени, — когда мы с ним познакомились, он уже перестал удивляться удачам в своей судьбе. Впрочем, моей маме он казался непростительно скромным. Если права мама, то скромность неотличима от самодовольства — особого, высшего его сорта, когда перестают вести счет победам.

Ничего он не помнит. А фраза насчет женщин, которые из двух зол выбирают меньшее, сказана в

подтверждение собственному, блестящему авторитету: вот какой я умный, любая моя рядовая мысль сформулирована четко и с блеском.

Я бы могла сказать ему, что это не тот Чугунов и могла бы напомнить, как за два дня до свадьбы ко мне зашел Гриша. Я ведь и раньше говорила мужу о Чугунове. Но сейчас с меня достаточно воспоминаний.

Машина сворачивает в сторону и останавливается. Я сбрасываю плащ. К нам в кузов вползает медленное в безветрии облако пыли. Колька громко чихает, спрыгивает с машины и протягивает мне руку. Автобусы у павильона стоят раскаленные, с оплывающим солнцем на никелированных закруглениях. От проносящихся по шоссе машин поднимается доисторическая, гиреевская пыль — ничуть не лучше забайкальской.

На скамейке в тени сидит разомлевшая женщина, обмахивается журналом как веером.

Перед ней два баула и корзинка. Женщина наклоняется, открывает корзинку, и я вижу, как оттуда выпрыгивает кошка.

— Котят, — говорит женщина, — жалка котят.

Там еще котят! Они мяукают в жарком тряпье на дне плетенки.

Я пью ледяную газированную воду. Колька дует на пивную кружку, пена падает ему на туфлю. Убористыми шажками к нам подходит шофер. У него идеальный для его профессии порядок на голове — короткая, обласканная руками стрижка.

— Вчера паял-паял радиатор — все равно подтекает, — сообщил он, как старым знакомым. — Плюнул, пошел спать. А утром бросил в воду сухой горчицы грамм пятьдесят — и порядок! До сих пор не течет. Я так думаю — доедем! — Он потрогал волосы рукой. — Оно по инструкции не разрешается, да какая тут инструкция! — и снова отошел к машине, а с подножки крикнул, показывая на разомлевшую женщину: — Еще гражданочку до кучи возьмем, надо подкинуть!

Николай забрался в кузов и подал гражданочке руку. Гражданочка суетливо наклонилась, и он принял корзинку с кошачьим семейством. Стоя в рост, он с удовольствием наблюдал, как тетенька охает возле внушительных своих баулов. Если речь идет о некрасивых или пожилых женщинах, наши мужья отличаются от рыцарей некоторой сдержанностью. Впрочем — к удовольствию своих жен, которые тайным своим умом наделяют даже некрасивых женщин чертами соперниц.

Муж выпрыгнул, кинул тюки в кузов, морщась от приторных слов благодарности.

Некоторое время мы ехали молча,

— Котят жалко,— повторила женщина, наклонившись к моему уху. Не вынесла молчания.

Я подумала, что и сама в иные минуты считаю говорливых попутчиков неперменной принадлежностью дорожного комфорта,

— Мальчишки хотели утопить котят-то.

Несут их по базару, а кошка, мама, стало быть, рядом бежит...

— Коля, — осенило меня, — давай купим тебе хорошее демисезонное пальто?

Это опять снизошла на меня благодать внимания и заботливости. Я увидела, как женщина покосилась на выгоревший Колькин плащ, пропахший всеми ветрами России. За пять лет мы успели кое-что приобрести, но все-таки нам мешают наши бесконечные переезды.

— Сейчас можно,— спешу напомнить я.— Перед отпуском мы хорошо получили...

— А я на базаре была,— крикнула женщина, подвинувшись ко мне. — В первый раз такое поглядела. Все не от кого ехать, хозяйство держит. А тут поглядела. Ну и базар — дух занимается!

Колька досадливо чиркнул спичкой. Женщина кашлянула, отмахнулась от дыма обеими руками. Спешно стала продолжать — на самом интересном месте глотнула дыма:

— А народ неуважительный. Не-е! Мясо это покупаю, а мясник — ряшка такая

— сует мне одни кости. Я это другой кусок прошу, а он мне опять одни кости. Тут я как напустилась на него — светы божьи! А он мне: «Послушайте, гражданочка, вон там кефир продают, так он совсем без костей!»

Теперь Колька подвинулся ко мне, и я не дослушала занозистую попутчицу.

— С пальто подождем. Нам вскоре понадобятся деньги...

Я сняла плащ с коленей и положила его на соседнюю скамейку. Как быстро с меня слетает благодать заботливости! Я спросила мужа тоном той певицы, которая до войны цедила сквозь зубы «За кукарачу». Я спросила его:

— Это еще зачем?

Он снова наклонился к моему уху, и я почувствовала, что с его губ готовы сорваться и Терпсихора, и Евтерпа — как он меня называл?

— Боже, снова переезд? — вырвалось у меня, хотя я знала, как моя догадливость подогревает Колькино упрямство.

— Мне надоело,— говорит он и улыбается.

— Что надоело?

— Все: и пейзажи, и стерляжья уха, и профессор Чугунов — он все на банкет набивается.

— А твоя докторская?

— О женщина, будь благоразумна: в Москве мы не пропадем.

— В Москве?

Вообще-то, Москва не такая уж для меня неожиданность. Он часто заговаривал о Москве. Ему не давала покоя мысль, что мои родители — люди простые, а вот, поди ж ты, шесть лет назад перебрались в столицу. Да и его родные живут в Коломне. В тот день, когда я впервые привела Садовникова к своим, он сказал маме, что намерен со временем жить в самом центре этого города. И мама, закрыв за припозднившимся гостем дверь, отметила, какой упорный и полезный человек этот Николай Степанович. С таким можно, говорили мамыны глаза, это тебе не бродячий художник.

— В Москве? — переспросила я мужа.

Он кивнул и стал напевать эту дурацкую песенку «Понимаешь? — Понимаю!». Я устроилась поудобнее и, чтобы отвлечься, попыталась решить вечную проблему движения — почему так медленно идет машина?

Галя высунулась из окна пятого этажа, и Садовников, такой маленький внизу, помахал ей рукой. Вот он — глаз не видно — всем туловищем искал урну, замедлил шаг и выкинул папиросу. Девушка представила, как зашипела папироса, когда он плюнул в мундштук. Фу, приходит же такое в голову после свидания!

Они знакомы уже два месяца. За это время в такой строптивой девушке, как Галя, неприятные особенности характера, черточки и привычки Николая трансформируются до чудовищных размеров, но двух месяцев хватает и на то, чтобы, одергивая себя, успокоиться и научиться не замечать пустяки. Мама говорит — во имя большой справедливости.

Большая справедливость? Это сознание, что Садовников талантлив и что он не ищет легких путей в жизни, если уж не побоялся этого жуткого Забайкалья. Гриша тоже пренебрегает устроенностью и даже столичным славословием. Конечно, в Чугунове больше фанатизма, но зато меньше понимания реального. Чтобы строить воздушные замки, надо хотя бы одной ногой стоять на земле — эту мысль Галя повторяла Чугунову.

Она отошла от окна. Наклонив голову, издали посмотрела на ватман, приклеенный к чертежной доске. Господи, скоро защита дипломного проекта! Гриша перед самым отъездом сделал ей отмывку фасада здания. Получилось нечто в чугуновской манере, хотя она умоляла его сделать, как делают простые студенты, не очень умеющие рисовать. Он ответил, что признает только воздушные замки.

А Садовников сегодня пожал плечами, увидев фасад. Он ни о чем не спросил, но она сама объяснила — это один

молодой человек, художник, не закончивший института. А Садовников сказал, что он зато силен по части расчетов. И действительно, кое-что исправил. В этом смысле очень жаль, что его командировка кончается. Несколько дней он проведет в Коломне, а потом уедет в свою ужасную Читку.

Мамы и папы нет дома. Галя подошла к зеркалу. В брючках она себе тоже нравится. Полчаса назад она в душе хохотала, перехватывая изумленные взгляды Николая Степановича. Но ее проснувшейся женской мудрости еще мешает девичье легкомыслие — она не-серьезна, а ее злой язык только такой человек, как Садовников, может назвать особым, высшего сорта кокетством.

Так проще жить. Кто против? Воздержавшиеся? Принято единогласно. Ну и пусть молчаливый, непутевый Гришка ни единого слова не сказал ей о любви. Зато Николай Степанович предложил ей руку и сердце. Свадьба состоится через два дня в Коломне. Боже, за кого он ее принимает?

У соседей девочки-близнецы включили магнитофон. От густых низких звуков мелко задрожал на потолке солнечный зайчик. Галя передвинула на столе стакан с недопитым чаем, и раздражавший ее зайчик исчез. Садовникову и в голову не приходило вынуть ложку из стакана.

Теперь выкинуть из пепельницы, хотя там всего один мокрый окурочек.

Мама сказала, что женщина тем умнее, чем меньше обращает внимания на пустяки. Этот навык пригодится, когда молодая женщина впервые задумается над противоречием между жаждой и примитивностью ее утоления... Мама всегда была откровенна с дочкой.

Галя села за низкий туалетный столик, на котором перед зеркалом выстроились склянки—целая аптечная витрина. Сквозь громохот магнитофона она едва услышала, как динькнул звонок в коридоре. Может, уже давно звонят. Это не родители, у них есть ключи.

Она еще раз посмотрела на себя в зеркало. Не надо поднимать руки вверх—

блузка коротковата. Боже, не потому ли так смотрел на нее инженер Садовников? Книжки, сны, рассказы подруг, обжигающие восклицания мужчин — все это исподволь внушает девушке, что сокровенность всего разумного — инстинкт.

Еще звонок, пока она бежала по коридору.

На площадке стоит Гриша Чугунов.
— Гришка!

Гришка еще более худой, чем был до поездки. Прислонился к двери.

— Гришка!

Виновато улыбается. Перекладывает в другую руку свою папку, которую она так ненавидит.

В глазах и в протянутой его ладони все та же твердость. Каждый раз перед его отъездом Галя втайне надеялась, что величие страны подавит Чугунова, и когда-нибудь он заговорит о собственном ничтожестве. Чтобы стать художником, не обязательно быть сумасшедшим. Но Чугунов, возвращаясь из очередной поездки, протягивал твердую горячую руку, и Галя ни о чем его не спрашивала. Уж конечно, Гришку нельзя образумить разговорами о счастливой семейной жизни. «Почему обязательно карьеризм? — возмущался его ответом Галин папа. — Просто надо заботиться о собственном благополучии. По крайней мере, не бросать институт, если вам всего лишь сделали выговор за неуспеваемость. А как сделали! В позе реверанса, учитывая, видите ли, талантливость».

Боже избавь, думая о его счастливой семейной жизни, Галя не имела в виду себя! Подумаешь — бородач, скромник, у которого самомнение величиной с верблюда. Он ей всегда напоминал человека, вставшего на ходули для того, чтобы видеть на метр дальше. Уж лучше твердо стоять на земле. Но Гришка предпочитал не думать о зарплате, об одежде и о квартире. Он бродил по стране с геологами, с чабанами, плавал на китобойной флотилии, даже умудрился попасть на ракетодром, и все это ради фантастической идеи написать Россию.

— В Крыму не был? — спросила

она, когда они уселись за стол, на котором вздрагивал в стакане недопитый чай.

Он запустил пятерню в беспорядочную бороду и мотнул головой. На перроне два месяца назад Гришка сказал, что, может быть, заедет к матери в Крым. Не поклониться ли школе, в которой они вместе учились? Не разбить ли окно в доме, где она жила, — он сделал это много лет назад в отместку за несправедливость ее отца, запретившего ему рисовать вместе с ней? Впрочем, там давно живут другие...

— Как проект? — спросил он и подошел к чертежной доске.

Левая щека у него подергивалась — это после обвала в горах, куда его понесло за воздушными замками. Она сидела за столом, и у нее тоже стала подергиваться щека, только правая. Чугунов обладал гипнотизмом, о котором сам не подозревал.

Подойди к ней, возьми ее за плечи, чтобы она встала из-за стола и уткнулась в твою гениальную бороду...

Но он стоял на своих ходулях перед ее проектом и видел на целый метр дальше других. Он не знал, что два месяца назад на перроне у нее неожиданно испортилось настроение — такого с ней никогда не случалось, ни перед одной разлукой. Ему это и в голову не могло прийти, потому что для Чугунова разум — сокровенность всякого инстинкта.

— Интересно, как поступит твой папаша, чтобы тебя оставили в Москве? — спросил он, закуривая.

Старая история. Он всегда спорил с ее отцом. Они не простили друг другу ни прошлого, ни будущего.

— Слушай! — Галя рывком поднялась со стула. — Через два дня я выхожу замуж. Так что, в общем, у нас мало времени...

Он повернулся к ней плечом и посмотрел так, словно она опять взялась судить его музу. Забавно, говорил его взгляд, впрочем все совершенно естественно.

— Выгодная партия? — поинтересовался он.

У нее заходило, заклокотало внутри от злости и от бессилия. Два месяца назад, мстя ему за бессердечие, она позволила

Садовникову проводить ее до дома. Понимает ли Чугунов, чем она может ему отомстить на этот раз?

Сказала срывающимся голосом:

— Он тоже закончил строительный. Понятно? Он старше меня и работает в Чите. Как видишь, я не забочусь о Москве. Не годятся тут твои речи о мещаночке. Понятно?

— Тогда, конечно, — ответил он и отошел к открытому окну, пряча от нее дернувшуюся щеку.

За стеной выключили магнитофон. Стало неожиданно тихо, и она шепотом позвала его:

— Гриша!

Он вернулся к столу, смял сигарету в пепельнице, сгреб бороду в кулак. Теперь щека не дергалась.

— Гриша, ведь я не боюсь трудностей. Если у меня и было что-то такое, то ты меня приучил думать иначе. Правда! Я не поеду в Коломну, пусть, этот Садовников и не надеется!

— Свадьба в Коломне? — спросил он. — Нет, почему же? Поезжай...

Он сам не знает, что говорит. Он просто не может поступиться своими правилами — живи, как тебе любо, по тобой же созданным законам, не попирай собственных принципов.

И ее опять взбесила эта рассудочность. Чугунов слишком часто уезжал, чтобы накрепко привязать ее к своему пониманию жизни.

— Ну и поеду! — закричала она.

Когда у нее скверное настроение, она часто делала глупости.

Не надолго мы задержались у ресторанчика на перевале. Николай взял меня за руку, но я вырвалась — может идти ко всем чертям. Женщина тоже осталась в машине караулить свои баулы и свое кошачье семейство.

— Может, вам понадобится комната? — спросила она с радушием хорошей знакомой. — По рублю за ночь. Мы не спекулянты какие. А море — вот оно, через двор пройти. Можно и в одном халатике, если что.

Я ответила, что нет, не понадобится. Мне ненавистен этот способ выколачивания денег более, чем любой другой. Это у меня осталось с детства. Мама часто жаловалась на постояльцев. И мне в Забайкалье, и в Бийске, и в Саратове мое детство вспоминалось чередой одних и тех же картинок: море, на которое замахиваются прибрежные скалы, вечерние улицы с запахом душистого табака и еще скрип раскладушек, доносившийся с балконов и из сарайчиков — то тут, то там отпускники устраивались на ночлег.

Колька пришел благодушный. Вообще-то, он мало пьет, но в отпуске деловые мужчины меняют свои предрассудки — надо растормозиться, надо поглупеть как можно основательнее, надо растратить все свое время, на то он и отпуск. В Евпаторийском пансионате, где мы отдыхаем, кандидат наук Садовников не взял в руки ни одной книжки. А я, дура, когда он резался в карты, потихоньку готовилась к аспирантуре, хотя у себя в Саратове посмеялась над предложением начальства заняться научной работой.

Мне не терпелось спросить у Садовникова, каким образом он думает получить в Москве квартиру. Старый испытанный способ, благодаря которому мы из Читы переехали в Бийск, а из Бийска перебрались в Саратов, — этот способ для Москвы не годится. Чудаков, желающих избавиться от московской прописки, я что-то не встречала.

Машина тронулась, и я одернула себя. Хватит про это. Помимо воли я уже проявила такую заинтересованность в очередном переезде, что на этот раз мне будет трудно ругаться с Садовниковым и трудно его отговаривать. Он хороший семьянин и всегда действовал во имя семьи. Это раз. А во-вторых, мне в самом деле хочется поступить в аспирантуру.

Начался спуск. Нас качало на поворотах. С перевала в хорошую погоду видно море. Но мы сидим спинами к нему, да и брезент опущен. Мы видим, как дорога штопором ввинчивается вверх, в горы, поросшие лесами. Мы как бы задним числом оцениваем красоту. Скоро покажется гора Озарения, на которой после

выпускного вечера мы всем классом наблюдали восход солнца. Тогда мы были щедрыми и веселыми. С этой горы нам виделись все трудности — мы не боялись трудностей. И счастье каждого человека нам было видно в отдельности — мы не очень-то боготворили его, уготованное счастье. Гриша Чугунов сказал мне в то утро, что окончательно решил стать художником. И я пожалала ему руку.

Уже попадались люди у дороги. Нас обдавало то городской пылью, то запахами моря. На поворотах к нам в кузов стали врываться длинные тени пирамидальных тополей и кипарисов, и мы, прикрыв глаза, чувствовали биение солнца — как в детстве, когда бежишь вдоль забора, а за забором красный закат залил все пространство между домами.

Женщина стала шарить в кошелек. Шевелила губами, перебирая деньги. Колька молча курил, щелчком выкидывал мокрый окурок и принимался что-то насвистывать. Он ожидал вопросов и, если бы не попутчица, давно бы назвал меня и Терпсихорой, и Евтерпой, чтобы я не ругалась. Но мне было не до вопросов и не до ругани.

Вот она — гора Озарения с крутыми голыми склонами, отпугивающими слабонервных и равнодушных. Гриша поднимался на нее едва ли не каждый день и приносил мне дерзкие свои акварели, в которых мечта пополам с реальностью. Однажды он сказал, что ему открылись воздушные замки, а мне ничего не открывалось, кроме красоты моря и гор. Только все равно для меня это озарение: каждый видит по-своему.

Машина пошла медленней. Садовников достал записную книжечку и открыл ее на букве «Ф».

— Финогенов, Финогенов, Пал Иваныч Финогенов,— напевал Садовников, приспособив мотив песенки «Понимаешь? — Понимаю!» — Улица Калининкова... А где улица Калининкова?

— Кажется, у базара. Это у базара? — спросила я женщину.

— В аккурат у базара. Вверх идет. А я внизу живу. И море рядом, и тут тебе автостанциями магазин.

Она придерживала ногами корзинку с кошачьим семейством, чтобы ее не перевернуло на бульжниках. Я закрыла глаза, и через минуту она толкнула меня локтем.

Улица Калининкова? Я сказала об этом мужу. Он постучал в кабину, машина остановилась. Колька помог мне вылезти. Спасибо. Теперь пусть оставит меня в покое. Я прислонилась к дереву и несколько раз глубоко вздохнула. Чего я хочу от этого города?

— Слушай! — крикнула я Кольке, который разглядывал номера на воротах.— Почему ты ничего не говорил мне о Москве? Я не хочу в Москву. Ты же знаешь, я отказалась от аспирантуры. И вообще, хватит этих переездов!

Я пошла за ним по тротуару. У меня отекли ноги. Это после рождения Наташки. Мне в пору бы сесть где-нибудь в скверике, а я шла за мужем и говорила ему, что не хочу жить со своими родителями. Он же знает — мать постоянно подчеркивает, что уйти на пенсию и заниматься внучкой — это извините меня... Она так и говорит — «извините меня», деликатная ровно на столько, чтобы не показаться грубой. Когда вставал вопрос о моей аспирантуре, я вела с ней хитрую и унижительную переписку, закончившуюся тем, что мать написала «извините меня...» Правда, она предложила оставить у себя Наташку на время нашего отпуска. Наше с Николаем родительское воображение было поражено идиллической картинкой: бабушка складывала рисунки внучки, а после, в тайне от всех, покрывала их воском — для вящей, до самой свадьбы сохранности. Садовников был просто потрясен таким поворотом и перестал употреблять свою любимую фразу: «Что тут мудрить? Это так же просто, как теща...»

— А? Колька... Почему ты ничего не говорил мне о Москве?

Колька остановился у ворот, на которых табличка спокойно и ненавязчиво предупреждала — во дворе злая собака. Дернул за кольцо. Где-то в глубине двора звякнул колокольчик. Сквозь собачий лай я услышала, как звенит натянутая проволока — это неслась от конуры к воротам тяжелая, в палец толщиной, цепь. Почему-

то я представила себе не собаку, а именно цепь с большим сверкающим кольцом на проволоке. Потом захрустела насыпная дорожка от чьих-то шагов. Колька поправил галстук. К щели приник выцветший старушечий глаз — о эти щели, совершеннейшие приборы частника, оптика и акустика, непробиваемой саманной цитадели!

Я хихикнула в ладонь, увидев, что Садовников еще держится за узел галстука. Неужели и Гриша, если прийти к нему, сначала убедится, что у человека, стукнувшего в дверь, ничего в руках нет, кроме дамской сумочки? Я была поражена, прочитав в газете про художника Чугунова, давшего согласие расписать стены строящейся гостиницы. Из заметки я также узнала, что Чугунов «правильно воспринял критику общественности и, имея возможность в течение длительного времени изучать наш край, пришел к иной творческой концепции...» Не значит ли это, что художник Чугунов обрел, наконец, покой в городе: своей юности?

— Вам кого? — перебила мои мысли старушка.

— Э-э... А Пал Иваныч дома? — спросил Садовников, пытаясь приоткрыть калитку.

— Нету, нету! — щель снова сузилась.

— А где Пал Иваныч? Это его сослуживцы. Он нас, видите ли, приглашал...

8

— Они круг Кавказа в автомобилях пошли, — испуганная скороговорка за калиткой.

— А вы... А он вам ничего не наказывал? Я потянула мужа за руку.

— Шаблаются тут всякие... — проводила нас старуха.

Кольку трудно обидеть. А тут у него покраснели от злости кончики ушей. Он стал перелистывать записную книжку. Ведь здесь пол-института отдыхает. Вот Смирнов, проректор. Вот Гукасян, снял комнату на той же улице Калининкова.

— А? Какова бабка? Ну, я

припомню Финогенову...

— Брось, — сказала я, — закури лучше. Не перейти ли тебе на сигареты?

— Значит, так. Сейчас пойдём к Тукасяну. Спросим, посоветуемся...

— Не пойду я к твоему Гукасяну! И вообще...

Я перебрала в памяти его товарищей. Все их жены обшиты у одного портного и вымазаны у одного парикмахера. У всех брючки обтягивают толстые зады. Уж лучше всю ночь просидеть в парке, если не выгонят. Только обязательно выгонят — я помню порядки этого города.

— Колька, пошли в гостиницу. И возьми, ради бога, свой плащ.

Колька упрям, но бабка его так обескуражила, что он не настаивает.

Я смотрю вверх, стараясь не пропустить, когда выплывет из-за домов моя гора Озарения.

Она приехала к нему в Читу, и именно в этот день инженеру Садовникову дали двухкомнатную квартиру — раньше он жил в общежитии. Первую ночь они спали на полу, укрывшись его плащом. Не было ни кровати, ни даже стула. Галя была счастлива: жизнь начиналась с трудностей. Сознание того, что им приходится нелегко, что Чита сама по себе не бог весть какой райский уголок — все это вооружало ее в мысленном споре с Чугуновым. На Забайкалье налетали бураны, похожие на древних кочевников, и Галя, злая от избытка романтики, вечерами чистила порывевший Колькин плащ.

Ее приняли на работу в проектную организацию, и вскоре она убедилась, что почти ничего не знает из того, чем каждодневно должен быть вооружен практический инженер. Колька заразительно смеялся над ее огорчениями. С притворной обидой она называла его рохлей и, успокоенная, помогала ему делать обзор литературы — первую главу его будущей диссертации. Садовникову трудно было без научного руководителя, он мечтал об институте. Поэтому Галя

удивилась, когда однажды он заговорил о переезде в Бийск. Разве будет лучше для научной работы в этом самом каком-то Бийске? Он ответил, что всё ему надоело: и сопки, и песок на зубах и даже саранки в поле — какие-то отбившиеся от Европы цветы. И сказал, что нашел сменщика. Бийск — хороший город. Обь — это даже лучше Волги.

Ей было немножко обидно. К этому времени она научилась с головой уходить в работу. Обеды, письма, нравоучения мужу — все делалось на ходу.

Он целую неделю называл ее Терпсихорой и Евтерпой, пока она не согласилась на переезд.

Бийск Галя помнила плохо и какой-то недоброй памятью, хотя через несколько месяцев после переезда в этом городе родилась их Наташка.

Работать ей не пришлось. Она по многу раз поднималась ночью к плачущей дочке, а вечером, дождавшись мужа, валилась на диван и спала, пока Садовников не начинал терять терпение — с дочкой на руках какая тут диссертация!

Однажды, когда Наташка уже топала, они вышли с ней на балкон, и Галя увидела, как у киоска «Пиво-воды» на багажнике велосипеда сидит карапуз, ногами обхватил заднее колесо, в руках держит стакан с газированной водой. А старший его брат прижимает велосипед к дереву, чтобы не упал и тоже пьет газировку.

Это так ее поразило жанровой свежестью, что она вспомнила про Чугунова, которому еще в школьные годы надоедала советами — что рисовать да как рисовать. И опять она с женской мстительностью подумала, что он в ней ошибся, и у нее навернулись слезы от сознания, как все нелегко в их жизни. Вот и мать недавно им ответила: «Извините, меня». Значит, опять придется не работать. Все время уходит на стирку, штопку, приготовление, обеда. Дом изнуряет как вредное производство, если изо дня в день без большой мысли, без большой заботы. Вечером она засыпала, сидя у Наташкиной кровати. Муж переносил ее на руках. Сквозь сон она слыхала его «люблю», и

ничего не могла с собой поделать. В редкие часы, когда он был свободен, она пыталась ему втолковать, что, если мужчина говорит «люблю» и не спит, то, прислушайся, женщина и во сне говорит «люблю».

С тоски и со зла она написала Грише на «до востребования», и он, умница, не ответил. Но мать время от времени извещала ее — продолжает колесить по стране.

Николай никогда не напоминал ей о Чугунове. То ли из деликатности, то ли нацело забыл про него. А скорее всего, считал красоту жены возданием должного инженеру Садовникову, человеку не только преуспевающему, но и безупречному. Значит, все закономерно. Причем здесь какой-то человек из юности? Садовников не был глупым, но друзья дезориентировали его, называя кто героем, а кто — жертвой собственного фанатизма: жена москвичка, а он, чудак, не зацепился за столицу. Да и инженер он способный, не для периферии...

Она уверена, что подобные разговоры и разогревали его самолюбие, если только... Если только он и без этого не продумал все с самого начала.

Однажды он вернулся с работы и еще у вешалки сообщил:

— По генеральному плану нам следует переехать в Саратов.

— По генеральному плану? — удивилась она, но в душе обрадовалась предстоящему переезду, почему-то решив, что именно в Саратове все и образуется — Наташка уже большая.

Терпсихора и Евтерпа, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, два раза переехать — все равно, что один раз погореть — эти и другие слова они выслушали друг от друга на этот раз довольно миролюбиво.

В один из последних вечеров они гуляли вдоль реки. Николай легонько подталкивал коляску. Наташа выговаривала слова, над которыми оба они смеялись. И еще более их развеселил незнакомый папаша, державший годовалого сына над урной.

Дома она сообразила, что это тоже жанровая сцена для Чугунова. И, вздохнув,

решила обучиться в Саратове печатать на машинке — надо помогать мужу делать диссертацию.

Гриша мне рассказывал, как в детстве мама попросила его помочь ей выпустить стенную газету для школы. Он нарисовал солдата с винтовкой, и мама была довольна. В другом углу он изобразил стремительный самолет, мама была просто в восторге. Тогда он решил добавить знамя, развернутое на ветру. Он красил полотнище красным и напевал про себя: «Красное знамя с черной каймой» — стихи, вычитанные из какой-то книжки. И к его ужасу, на бумаге вокруг знамени возникла траурная полоса, а у древка лента была красиво завязана бантом.

Что ты напевал, создавая на стенах гостиницы свои стилизованные панно — чайки над островолным морем, женщина с невероятной гроздью винограда? Какие мысли навязали тебе чужие стихи, а ты и не заметил этого?

Колька еще толкался у окошечка администратора, а я сидела в кресле в центре вестибюля и толковала Чугунова — его картины всегда надо было толковать, на этом сходилась даже разнополюсная критика. Я сидела и злорадствовала: вот и Чугунов вернулся на землю, выкинул свои ходули и плюнул на фору, отпущенную ему природой — видеть на метр дальше остальных. О чем ты думал, втискивая разноцветную майолику в раствор? Не о том ли, о чем и я, переезжая в Саратов, — рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Наш спор окончен, и было бы забавно поздравить друг друга с боевой ничьей.

Я механически говорила: «Занято», когда желающие получить номер отходили от окошечка администратора и останавливались у соседнего кресла, на спинку которого я бросила порыжевший Колькин плащ. Наконец, муж вернулся злой и взъерошенный. На моих глазах после истории с Финогеновым ему не повезло второй раз. Дважды за один день ему не было воздано по заслугам.

— Кажется, ты обещал бросить в

отпуске курить? — напомнила я, увидев, как он докуривает, — сейчас папироса шикнет и полетит в плевательницу.

Он слушал меня, как надоевшую магнитофонную запись — просто нет настроения дотянуться и нажать на «стоп».

— Мест нет, — сказал он. — Они говорят, что пятый этаж еще не сдан в эксплуатацию. Звонили в старую гостиницу и там... — он махнул рукой, папироса шикнула в плевательнице.

— Пойдем поужинаем? — предложила я.

— Займут места, — заколебался он. — Нам предстоит провести здесь ночь.

— Ну и пусть займут! Пересидим где-нибудь на лавочке. Из двух зол... В общем, я предпочитаю с полным желудком.

У нас ничего, кроме плаща и сумки, не было. Плащ так и остался висеть на спинке кресла. А там, где я сидела, уже через минуту вытянул ноги толстый гражданин — я оглянулась у дверей ресторана и увидела выглядывающую из-за спинки кресла маковку гражданина.

Ресторан был совершенно переполнен. Люди не спешили уходить. Добрая половина коротала здесь время. Другая половина, имеющая номера, проводила здесь досуг и тоже не спешила уходить.

Наконец, два места освободилось. Оркестранты заслонили собой нижнюю часть панно, но мне были видны горы, сделанные легко, одним росчерком. А над горами повисло нечто среднее между облаком и волшебной скрипкой.

На этот раз Садовникову воздали должное: равнодушная официантка, нарушая традиционную ресторанный медлительность, довольно быстро принесла нам коньяк и закуску. И опять, в который раз сегодня, на меня снизошла благодать заботливости и внимания к мужу: я вытерла бумажной салфеткой сначала его, а потом свои нож и вилку. Если бы мы сидели за столом одни, я бы разрешила себе пококетничать с ним. Он считает это ребячеством. Помимо воли он делает мне приятное: я не против вернуться, на пять лет назад. С Гришей мне не приходило в голову кокетничать.

Мы выпили. Как там живет наша дочурка? Тянется ручками к бабушке, у которой готово сорваться с губ: «Извините меня...»

Конечно, мы эгоисты, но не более, чем наши родители. Мне становится смешно, когда я вспоминаю, как мать, заботясь, чтобы о ней были созданы семейные легенды, натирала Наташкины рисунки воском — да сохраняются детские шедевры долгие годы. Как ни странно, Чугунов знал моих родителей лучше, чем Садовников. Садовников вообще имел все основания по крайней мере помалкивать в знаменитых мужских спорах о теще. На даче, которую снимал институт, разговоры о теще были популярнее разговоров о проблемах градостроительства. Мужчины собирались на кухне, мыли ноги в тазах и, оглядывая распаренные пятки, неторопливо перемывали косточки бедным женщинам.

Колька поднял рюмку. Я сказала, что пережду, и он выпил один. Наш сосед по столику, парень с криво подстриженными усами, пригласил меня на вальс. Садовников пожал плечами, а я покачала головой. Парень поспешил уйти.

Я смотрела на панно. У Чугунова редкая фантазия. Но он понял бы, что я его не похвалила, если бы сказала ему только это. Когда-то он ненавидел легковесность и бездумность в искусстве. Как он поладил со своей совестью, обдумывая это панно?

Внезапно я успокоилась. Выпила из рюмки и поискала глазами соседа по столику. Нет, он уже танцевал. Я даже успела заметить, что его партнерша была некрасивой. Второй сосед клевал носом над тарелкой. Садовников танцевать не умел. Танцы — отпущение страстей, учил меня муж. И добавлял, что прибегать к этому клапану цивилизации он считает расточительным. Я совершенно спокойно вспомнила об этом, хотя подобные сентенции мужа приводят меня в ярость.

Значит, так, товарищ Чугунов: независимо друг от друга мы пришли к одинаковому итогу. Оставаясь в душе прекрасными, мы оба допустили над собой власть вещей. Рыба ищет, где глубже... Ты не находишь, что эта пословица, придуманная, в общем-то, для успокоения,

первой своей частью должна нас уязвить? Где глубже! Мы мелко плаваем, Гриша.

Я дотронулась до плеча Садовникова. Он благодушно курил. Несколько мокрых окурков лежало в пепельнице.

— Тебе нравится это панно?

— спросила я.

Колька сощурился. Мог бы и не отвечать, но он ответил:

— Мода — непонятная стихия. Ты заметила, что мода плохо регулируется? Я имею в виду и ваши женские причуды.

— Гостиницу расписывал Чугунов...

Только теперь он сообразил, о ком шла речь. Он смотрел на меня прищурившись, более всего напоминая сейчас собственные фотографии, на которых он получался удивительно ученым.

— Он живет здесь?

— Да, то есть не в гостинице, конечно.

— Женат?

— Не знаю. Вряд ли... У него здесь оставалась мать.

Я прикинула, что ответить Садовникову, если он вдруг вспыхнет ревностью и даст мне пощечину. Разве жена не в праве мечтать об этом, если в течение пяти лет ей внушалась мысль: я тебе верю, я выше ревности, потому что я выше других? Но, как видно, пять лет — недостаточный срок, чтобы узнать даже ясно устроенного супруга. Колька подозвал официантку, отдал ей деньги, хладнокровно, чтобы она не смущалась, вернул ей сдачу и так же хладнокровно предложил мне:

— Сейчас мы пойдем к этому Чугунову и переночуем у него. А что? Мы попали в беду, и ты попросишь...

— Нет! — крикнула я так, что сосед за столиком проснулся и долил себе пива.

Пробираясь между столиков, я увидела второго соседа, который танцевал с некрасивой девушкой. Криво подстриженные усы делали его смешным. Он недоуменно проводил меня взглядом.

Кресло, на спинку которого я бросила плащ, оказалось почему-то незанятым, хотя народу в вестибюле стало,

кажется, еще больше. Садовников пошел к администратору. Я видела, как ему в три погибели приходилось нагибаться к окошечку, и все равно он казался выше других.

Господи, как ему пришло такое в голову, чтобы я просила Чугунова о ночлеге? Мне отказано в прошлом, одной фразой я лишена возможности в минуты скверного настроения признаться себе, что могла бы быть счастлива. Оказывается, я как девочка играла в тайну, а взрослые в своем эгоизме просто не замечали девочку, а заметив, сказали: «Ну, довольно, займись-ка лучше делом!»

Когда-нибудь, узнав обо всем, муж скажет, что он был великодушным.

Я закрыла глаза и постаралась ни о чем не думать. Вестибюль гудел, из ресторана доносились звуки разыгравшегося оркестра, к гостинице подходили все новые и новые машины.

Садовников вернулся и сказал, что ждать бесполезно. Я открыла глаза. Он принес стул — единственное, чего смог добиться мой везучий талантливый муж. Коньяк сделал свое дело — Садовников заявил, что привык к терниям.

— Ничего, в Москве отыграемся...

И назвал меня Терпсихорой и Евтерпой, но не очень громко — люди не должны это слышать, иначе люди обвинят моего мужа в легкомыслии.

Я сейчас же откликнулась:

— Ну и как ты думаешь попасть в Москву?

Я успела подумать, что помыслы Садовникова вряд ли похожи на воздушные замки прежнего Гриши — человека, мечтавшего написать Россию. Но наверняка они в духе сегодняшнего Чугунова.

— Значит, так: ты поедешь в аспирантуру, а я к своим — в Коломну.

Я согласно кивнула. Это забавно.

— Но прежде, перед отъездом... Надеюсь, ты не потеряла свою рассудительность? Когда-то она помогла тебе сделать правильный выбор. Так вот, перед отъездом мы с тобой разведемся... Фиктивно, конечно. То есть юридически все надо сделать как следует. А в Москве

снова сыграем свадьбу. Понимаешь, это нужно, чтобы тебя как одинокого человека прописали у своих родителей, а меня — у моих. А после регистрации меня обязаны будут

прописать у вас. Сейчас я кое-что значу, и меня с московской пропиской возьмут в любую проектную организацию или в институт. Желательно в институт. Я уже привык к науке.

Меня почему-то особенно поразила эта его последняя фраза — «Я уже привык к науке». Если бы к институту, если бы к работе! С таким же успехом он мог бы сказать, что привык делать открытия.

Я глупо засмеялась и сжала руками виски. Кажется, он испугался, что я закачу ему истерику, хотя знал, как ненавижу я истеричек.

— Послушай, — сказал он, дотронувшись до моей руки, — брак в юридическом понимании несет в себе что-то оскорбительное. Поэтому не будет большого греха хорошо плюнуть разок на предрассудки. Один писатель, который писал про крымское подполье, так вот, он не был зарегистрирован со своей женой вплоть до самой войны, а у них, кажется, дети были взрослые. Что мы — поступаемся своей порядочностью? Или, может, ты боишься за свою судьбу? Он говорил и говорил, а я вспомнила, что часто бывала с ним холодна. Но, успокаивая себя, я каждый раз говорила, что холодность женщины не всегда от равнодушия, так же как горячность мужчины не всегда от любви. Отчего же я так холодна сейчас — ни брезгливости, ни желания воскликнуть: «Как тебе не стыдно?»

— Ладно, — сказала я, — мне все понятно. Я согласна. Ты поспи в кресле, а я похожу, ноги затекли...

Он подумал, что на меня снизошла благодать заботливости и внимания. Он снисходительно улыбнулся мне, как раскаявшемуся ребенку.

Садовников любил париться. Пока к нему не пришла известность, он позволял себе раз в неделю сходить в городскую баню. По вкусу поддавал пару, а когда от

жары начинали потрескивать волосы, натягивал рукавицы, потому что руки хуже всего выносили высокую температуру. Да еще уши, но тут уж ничего не поделаешь. Придя домой, он хвастался жене, что сегодня у него на полке даже здоровый клык заломило от такого пара. В Саратове он решил, что ему неудобно бывать в парильне вместе со студентами. Сетуня на такое неудобство, Садовников рассказал Галине, как однажды некий студент навязался потерять ему спину, а после бани подошел к нему и вежливо спросил:

— Простите, а билетики можно? — это он об экзаменационных билетах.

Тогда-то Садовников и надумал устроить парильню у себя дома. Он приспособил на газовой плите четыре жестяных банки, соединил их трубками, а от этого парообразователя сделал отвод в ванную.

Жена ненавидела, его изобретение. Муж выходил из ванной распаренным и казался ей еще более самодовольным. Если случались гости, он показывал им свои банки, и жены его товарищей вежливо удивлялись, более привыкшие рассматривать семейные альбомы, однако любопытные настолько, чтобы не погнушаться осмотром совмещенного санузла. Но в данном случае Галина их одобряла: нет ничего скучнее и обманчивее семейных альбомов.

Кроме бани, муж увлекался наукой. Саратов был к нему доброжелателен, и Садовников успешно защитил кандидатскую диссертацию, будучи еще практическим инженером. К этому времени они отдали дочку в ясли. Галя смогла найти себе работу по сердцу в лаборатории строительных материалов. Работа настолько увлекла ее, что она перестала придавать значение досадным мелочам в своем доме. И опять, как тогда, в Чите, она смогла обрести мудрость занятого человека: обеды, письма, нравоучения мужу — все делалось на ходу. Теперь, если у них бывали гости, она уже не боялась, что кому-то из досужих женщин придет на ум смотреть на них как на фотографию из семейного альбома — мало ли что прячется за улыбками супругов и за их радушием.

Работа так организовала и размерила их жизнь, что Галя, чаще, чем до этого, находила время для перепечатывания статей своего мужа. Однако ей недолго доставляло это удовольствие, потому что Садовников воспринимал ее помощь, как должное. Трезвый человек, она все-таки нуждалась в словах благодарности. Поэтому, уставшая от глупой механической работы, она изредка и с грустью вспоминала, как любил ее слушать Чугунов.

Садовников приходил поздно: в институте у него были, в основном, вечерние часы. Думая о таком образе жизни, Галя признавалась себе, что имеет все основания ревновать, но все это ужасно смешно.

Однажды она спросила его, что он думает о верности мужей. Он не смутился и ответил в обычной своей сентенциозной манере:

— Верность? Самые умные жены не спрашивали об этом у солдат, вернувшихся с фронта...

Она так и не поняла, выгораживает ли Николай себе привилегии солдата или подчеркивает, что у нее нет пока той широты взгляда, которая отличает самых умных женщин. Глядя на засыпающую Наташку, Галя заставила себя думать так, как думает большинство женщин: я хочу, хочу, чтобы все так и осталось. Маленькая хорошенькая дочка помогала ей жить, по крайней мере низводила сложные вопросы до уровня простых истин. По дороге в ясли Наташа требовала конкретного ответа: кто сегодня придет за ней в ясельки? И предпочитала, чтобы приходил папа. Она болтала без умолку, и маме приходилось покрикивать на нее: «Наташа, пойдем быстрее, мама опаздывает на работу».

И, оправдывая свой образ мыслей, сходный с образом мыслей других женщин, Галя невольно улыбалась: фразу «мама опаздывает на работу» говорят по утрам своим детям большинство матерей.

После родов у меня частенько отекают к вечеру ноги. Надо было об этом подумать, когда мы собирались в отпуск.

Подумать и не брать туфли на шпильках. Но не возвращаться же сейчас в гостиницу, и не будить Садовникова, и не говорить ему, чтобы он убирался из кресла!

Я шла по многолюдной набережной и уверяла себя, что туфли — единственная причина моего скверного настроения. Все дело в туфлях. Меня перегоняют старухи — разве не досадно? Ни одной свободной скамейки. Можно бы зайти в кафе и съесть мороженого, но там наверняка очередь. Меня тошнит от одной мысли, что придется стоять хотя бы четверть часа.

Наконец, я доплелась до санатория имени... Сейчас у него другое название, правильное название, без всякого имени. После войны мы совсем разучились думать поэтически. Я не уверена, что в горсовете не стоял вопрос о переименовании горы Озарения в сопку имени... Наверное, после выпускного вечера мы все равно пошли бы туда встречать восход, но мне трудно сказать, какие бы у нас остались воспоминания.

Теперь свернуть в переулок. Идти и ни о чем не думать. Лучше всего снова ругать туфли. До родов у меня никогда не отекали ноги. До родов я хотела уйти от Садовникова. В памятную ночь, когда разошлись гости, он сказал мне: «Стыд — одна половина страсти, вторая ее половина — бесстыдство...»

Нет, мне нельзя думать о туфлях.

Слава богу, вот и дом с мансардой. Только бы не струсить и не убежать. Хорошо, что туфли жмут.

Я нырнула в темный двор. По выщербленному асфальту добралась до гремячей железной лестницы.

Эту лестницу — старинное произведение, не знающее износа, — мать Чугунова натирала керосином. Вот и сейчас пахнет керосином. Это меня немного успокоило. На площадке перед дверью Чугуновых я остановилась и посмотрела во двор. Увидела раскладушку под фруктовым деревом: многие хозяйки этого двора живут курортниками. На секунду я пожалела, что не записала адрес нашей попутчицы. Сейчас бы мы уже спали.

Теперь простучать в косяк двери начальные такты Венгерского марша

Берлиоза. Так было условлено в детстве. Это почище магического «Сим-Сим».

Какие-то странные шаги за дверью. Не узнаю. Господи, мои сведения о том, что Гриша не женат, могли тысячу раз устареть!

Но открыл сам Чугунов. У меня успело пронестись в голове, что женщины за пять лет способны измениться до неузнаваемости. Я качнулась к свету, и он, как-то неловко шагнув, схватил меня за руки.

Последующие несколько минут я едва ли могу восстановить в памяти. Постепенно до меня стали доходить подробности обстановки и смысл нашего нескладного разговора.

— А где твоя борода? — спросила я, обратив внимание, как сильно дергается его щека.

Он махнул рукой. Несущественно, где и почему он ее сбрил. А что существенно? Ну, например, что я мало изменилась. С женщиной такое бывает в двух случаях: когда она счастлива или когда ее видишь ежедневно и перемены происходят на твоих глазах...

Я поняла скрытый вопрос (счастлива ли я?) и засмеялась. Нет уж, пусть он ответит про бороду. Не означает ли это, что Григорий Чугунов как-то умиротворился и борода, за которой в странствиях можно было не ухаживать, перестала быть удобством?

Он поднялся с кресла и захлопнул приоткрывшуюся дверь. Я поискала глазами тикающие часы и вдруг заметила, что он хромает. И едва не закричала, потому что этот тип никогда ничего не объяснит, пока его не спросишь. Он, видите ли, считает, что внутренняя человеческая логика должна быть понятна и без слов неглупому другу. А глупых друзей у него не бывает.

Я дура, дура! Я ничего не понимаю в этой его логике! Почему он сказал мне пять лет назад, чтобы я поехала в Коломну?

— Что у тебя с ногой?

Он взглянул на меня удивленно. Значит, я не знаю? И махнул рукой — старая история, не в этом сейчас суть.

Левая нога его у лодыжек немного

толще, а нос ботинка слегка загнулся.

— Что у тебя с ногой?

Он приложил палец к губам — мама спит. Если маме напомнить, она опять начнет причитания: «Мальчик ты мой родной!..» Целый год плачет, хотя чего уж лучше — сын теперь никуда не уезжает, сидит дома, в хозяйстве толк стал понимать. А что касается ноги — это в одном леспромхозе один рецидивист... Он совершил побег, у него было оружие... Чугунов тогда работал заведующим клубом. Ну, а тот в клуб забежал, загнали его...

У меня похолодели пальцы. И никуда не деться от мысли, что в тот день я могла быть рядом с ним. И не только в тот день — все время. Нам дали комнатку в семейном бараке. По вечерам белые дымы колоннами подпирают небо. Гриша приносит охалку звенящих березовых поленьев. Накинув на плечи платок, я читаю книгу. «Пойду, доделаю плакат», — говорит Гриша. Клуб — вот он, рядом, холодный нетопленный домина. Фильмы крутят в столовой, в библиотеке народ не задерживается, поэтому, сказал директор, топить не будем. Истопник не предусмотрен штатным расписанием. Я вскакиваю и тоже надеваю свой белый полушубок. И я! «Глупая, ну ладно...» На улице человек при кобуре постукивает валенком о валенок. «Ну как?» Машет рукавицей. Еще не поймали, мать его разэтак! В клубе окна изо льда. Уличный фонарь почти не пробивает ледяную толщу. Я смотрю на своего Гришу, и он мне благодарен за то, что не задаю ему глупых женских вопросов: когда мы отсюда уедем в Крым и не хочется ли ему спокойно поработать над крупной вещью? Я беру со стеллажа Джека Лондона — библиотека располагается в большой комнате, если из фойе свернуть налево по коридору. И в это время мы слышим выстрел, потом другой. Выбежав в коридор, я невольно прижимаюсь к стене. В клуб ворвался человек, защелкнул за собой замок. Затравленно огляделся, подул, на руку, в которой сразу потускнел пистолет. «Ай-яй-яй! — сказал Чугунов. — Такими вещами не шутят!» А он и не думал шутить. Он

вскинул пистолет. Не попадись мне под руку полено, я бы дико закричала или вцепилась ему в горло. Но кричать не было нужды. Полено угодило ему в лицо и отчасти в грудь. Он выронил пистолет. Гриша спокойно подобрал оружие. Все закончилось в одну минуту.

...А если я его не спасла, значит, на моей совести все его неудачи. Несколько минут назад мне хотелось спросить его про гору Озарения. Моя собственная неустроенность подсказала бы мне злые ранящие слова. Я бы сидела и мстительно улыбалась, слушая, как он говорит про свои юношеские заблуждения. Талант—оружие романтики, талант — причуда одиночки, мир не повергнешь к своим ногам одними причудами.

— А где муж? — спросил Гриша.

— Спит в вестибюле гостиницы. Ни одного места нет.

— Выпьем по этому случаю? — предложил он, но прежде чем смог подняться, я отчаянно замотала головой.— Не бойся. Для того, чтобы стать алкоголиком, нужно много свободного времени. А у меня его нет.

Он достал рюмки. Стоя посреди комнаты, соображал насчет закуски. Неожиданно я подумала, что он, пожалуй, забыл, зачем накрывает стол. Он подвинул вазу с фруктами ближе к краю стола, ложку положил в стакан, а стакан тоже подвинул. Отошел немного в глубину комнаты, потом принес торшер и включил его для подсветки этого живого натюрморта. Щека его сильно дергалась. Наконец, он запустил пальцы в воображаемую бороду — остался доволен.

А я еще не могла прийти в себя. Гриша похрамывал несильно и, будь я медиком, это бы меня успокоило — как никак сохранен коленный сустав. Но я не была медиком и слишком хорошо знала, чего лишается художник, потеряв ногу. Господи, какой иронией против меня обернулись мои насмешки над Чугуновым, когда я представляла его на ходулях!

Мы выпили. Вернее, я только пригубила рюмку.

— Гриша, объясни мне... Ты часто говорил, что надо оставаться самим собой.

Я с тобой спорила, потому что, будь по-твоему, даже хорошие перемены в человеке потеряли бы смысл. Но со временем я поняла, что лучше оставаться таким, какой есть, чем становиться хуже. Скажи, ты по-прежнему... так думаешь?

Он пристально посмотрел на меня, он, конечно, все понял.

— Зачем ты терзаешься? Если я стал другим, то ты здесь не при чем.— Он немного помолчал.— Впрочем, после этой Коломны я на какое-то время — как это говорят поэты? — потерял крылья, но не беспокойся,— он так и не закончил, махнул рукой.

— Это хорошо,— вздохнула я.— Странный ты человек, только сейчас я узнаю, что ты любил меня. Правильно? Да и то... Знаешь, даже самой умной женщине, хотелось бы слышать об этом простые и прямые слова. Я что-то не слыхала, чтобы мужчин упрекали за эти слова в примитивности.

Он сидел, опустив глаза. Пальцы его нервно крутили пустую рюмку. После слов Чугунова было делом чести признаться себе, что я не очень-то желала ему счастья. Сейчас мне было бы, спокойнее, найди я его отрекшимся от своей романтики, в кругу любящей семьи, для которой он стал практичным, расчетливым, оценившим комфорт и достаток.

— Я люблю тебя! — тихо сказал он.

Я сжала ладонями виски. Он шагнул ко мне и я, вскочив со стула, уткнулась ему в грудь. Упала со стола рюмка, хряснуло стекло на полу. Мы отшатнулись друг от друга, вероятно, подумав об одном и том же,— сейчас встанет Мария Николаевна. Я подобрала с пола осколки и молча спросила Гришу, куда это деть.

На автовокзале Садовников расцеловался с Финогеновым и помахал его хорошенькой жене. Большой автобус с кремовыми занавесками на окнах газанул смрадом, но Николай продолжал стоять, глядя на милостивое лицо Пал Иваныча.

— И ты собираешься ночевать у этого...Бурбона? — зло спросила Галя у мужа.

— А почему бы и нет? Нас с тобой он прекрасно устроит. Пал Иваныч начинает понимать, что я ему понадобится. Однако поехали в пансионат, Терпсихора.

Галя сказала, что не хочет есть. Сколько можно? Они проводили Финогенова от самой Евпатории, в ресторане «Золотой пляж» мужчины нахваливали чебуреки и массандровские вина. Царский пир продолжался и здесь, в Симферополе. Сколько можно?

— Ну нет! — возразил Садовников.— Не пропадать же обеду!

На стоянке такси быстро отыскались еще двое, желающие проехать до Евпатории. Но с отъездом задержались, потому что клиент, сидевший впереди, неунывающий старичок, похожий на туриста-ветерана,— обернулся и неожиданно спросил у Садовникова:

— А курящие здесь есть?

— А как же? — Садовников как раз достал папиросу.

— Это невозможно! — возмутился старик.— Я ни за что не поеду в такси с курящими!

— Ну и не надо! — добродушно ответил Николай.

— А я-то, дура, зачем поехала? — спросила Галя, думая о своем.— Лежала бы на пляже... Тоже мне, почетный кортеж!

— Понимаешь, у него в Москве связи...

Он присел в кресло и отодвинул от себя торшер — так мне лучше было видно. Я рассматривала его зарисовки, и меня не покидало ощущение, что я была рядом с ним все это время — заглядывала через плечо, приставала с вопросами, сидела на остром от холода Памирском граните, вешала олени рога в новой, и опять не надолго нашей, заполярной квартире.

Женщина хорошо помнит обжитые свои углы — лучше мужчины, но спросите ее, сколько нужно часов, чтобы обжить свой угол. Она - пожет плечами. Мера времени для этого непригодна, здесь нужна мера счастья.

— В больнице я много размышлял. И вдруг понял, что ничего не сделал в

тридцать лет. Слишком расплылся на второстепенное: экзотика, мелкотемье, формальные поиски.

— Правильно воспринял критику общественности и пришел к иной творческой концепции?

У меня снова шевельнулась мысль, что спор окончен и надо поздравить друг друга с боевой ничьей. Но я тут же обругала себя дурой: ведь я давно чувствовала, что проиграла в этом споре.

— Ты следила за критикой? — удивился он. — Критика почти всегда права в том смысле, что надо больше думать о творчестве. И о людях. В мире много грустного. Надо помогать людям жить.

— И после этого ты взялся за гостиницу?

Я ненавидела себя в эту минуту. Обижать человека только потому, что в тебе велико желание перетянуть его в собственную компанию мещан!

Он с минуту помолчал, потом, как всегда спокойно и ненавязчиво, ответил:

— Ты помнишь свое письмо из Бийска? Я тогда на него не ответил... Кажется, ты там так писала: «Чтобы строить воздушные замки, надо хотя бы одной ногой стоять на земле». Выходит, сейчас в самый раз строить воздушные замки...

— Замолчи! — крикнула я. — Прости, — прошептала я.

Гриша встал и походил по комнате. Я схватила его за руку, но сразу же отпустила — что я ему скажу?

— И вот я вернулся к матери, — продолжал Чугунов. — А тут предложили придумать что-нибудь для гостиницы. Я мог бы сказать тебе, что в ту минуту вспомнил Леонардо да Винчи, который учил художников оберегать в себе черты любителя, не подверженного гипнозу гонорара. Может, я действительно вспомнил Леонардо, но не это главное. Да и работать мы договорились на общественных началах. Просто я хотел честно сделать свое дело, хотя мне было ясно, что работа предстоит такая... развлекательная. Назови это отступлением, я не обижусь. Мне надо было с чего-то

начать. Немногие начинают с вершин. А я до этого считал, что начал с горы Озарения... Честно говоря, я приехал к матери, если не растерявшим себя, то растерянным...

Я разглядывала удивительные акварели Чугунова. И он еще недоволен! Впрочем, Гриша действительно расплывается. Внизу под мансардой слышались шаги Марии Николаевны — разбитая рюмка ее все-таки разбудила. Должно быть, Гришина мать снова накрывает на стол, испугавшись холостяцкой неуклюжести сына. А ведь на столе действительно был натюрморт!

Здесь в мансарде почти ничего не изменилось. Разве что появился торшер да книг стало больше — сплошная философия. А пол по-прежнему скрипучий. Теперь это совсем пытка для Марии Николаевны — сын расхаживает наверху, а она слышит, как стучит его протез.

Это я виновата в том, что он оказался в больнице. Не в тот ли день в Саратове я начала постигать двойную бухгалтерию души Садовникова, но, чтобы не отравить себе жизнь, промолчала, когда он, сравнивая себя со строителями Комсомольска, подчеркнул душевный скачок человечества: сейчас Садовников, извините, не пришел бы в телячий восторг от телячьих вагонов.

Я отложила в сторону папку с акварелями. Сколько сейчас времени? Спросить я ни за что не решусь.

Садовников спит после коньяка. Или уже мечется по вестибюлю.

Надо встать и позвонить в гостиницу. Пусть все будет по-честному. Сегодня состоялась наша встреча после прощания на перроне. Между этими двумя днями было только ожидание. Сколько оно длилось — неважно.

— А ведь я назло умному Чугунову уехала тогда в Коломну и вышла замуж. Как я тебя ненавидела!

По лестнице поднималась Мария Николаевна. Громко кашлянула за дверью.